

Маяковский В. В.

Независимая газ. - 1993 - 21 июля - с. 5.

МАЯКОВСКИЙ — ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА-ДАДАИСТА

Генезис последнего периода жизни и творчества поэта

Сергей Шаршун

in memoriam

РОМАН «Голем» мне удалось прочитать только этим летом (1931 года).

Он произвел на меня такое впечатление, что я справился в Тургеневской библиотеке о других книгах Густава Мейринка.

Мне дали книжечку в 51 стр., содержащую 8 рассказов: «Лиловая смерть», изданную в Петербурге «Третьей стражей» в 1923 году.

Меня поразила звук книги. «Голем», произведение более значительное, написанное, очевидно, относительно молодым человеком, с еще теплыми земными страстями: мечь, страх, кабалистические познания, телепатия, стремление излить великую магическую силу.

Не знаю, кого там больше: Гоголя (Страшной мести), Э. По, Жерара де Нерваля (Орзья), фон Арнима, Новалиса или даже и Рудольфа Штейнера.

В новеллах же Густав Мейринк тождествен Гоголю второго периода (Мертвые души, Переписка с друзьями): иссякшим, выходящим.

Озарение, проводничество и прорицание расколдованного, оборвавшегося Мейринка, порождая урбанистически-реалистическое: уэлсовского.

Уверенность в скорой гибели земли.

Ожидание катастрофы. Тема почти половины рассказов: «желтая опасность», остальные: «труды и дни» людей-роботов ничего не предвещающей Европы.

Начиная рассказ: фантастически, конденсированно и экспрессивно — он сводит его на нет, до шепчущего тугоумно-бредового, идеотического смеха человека, бессильного перед лицом подступивших вплотную событий.

Бронислав Горб

Русский бред

ОЦЕНКА Иосифом Сталиным творчества Владимира Маяковского породила три вида биографии поэта.

С партийным восторгом (все и Ал. Михайловский «воскресение Маяковского», Ю. Хадина «Алоста Хозяина») и внешне как бы независимые (типа докторской диссертации Бориса Шнейдермана «Поэтика Маяковского» через его поэта, Сан-Пауло, 1977).

Но все они — биографии ортодоксальные, выросшие из мифа о том, что в геральдике советских поэтов Маяковский — поэт №1.

Среди обилия книг, критических статей, диссертаций о Маяковском (они по всему адресу от А до Я — от азербайджанских до якутских), написанных честно, — всего три работы друзей-приятелей: А. Крученых, Б. Пастернака, В. Каменского. Остальное — попытки, иногда талантливые, приспособить поэта к политическим реалиям, каждый раз иным.

Критики-ортодоксы, не умевшие объяснить неординарную личность в неординарном человеке, подменяют анализ стихов и поступков поисками иррационального. В книге Ю. Карачивского Маяковский вообще представлен исчадием ада. В буквализме смысле слова: «Так и видишь, как он, воскресший в будущем, тяжелый, мрачный, не знающий смеха, огромный, как кустодиевский большевик, давая и расшаривая поэтов, подбирается к какой-то высокой трибуне, непременно высокой и расширяющейся в воздушном пространстве, и вверх-вниз и вперед-назад движется его огромная чашка... Помилуй Бог, уж не сам ли дьявол и есть?» «Итак, дьявол. Антипод. Миссия его в этом мире — погнана. Культура — антикультура, искусство — антиискусство, духовности — антидуховность».

Разгадка апостола нечистой силы и дьявола в поэте, критики с неожиданной стороны, сами того не ведая, укрепили догадку: а не идет ли речь все-таки о скomorохе, шуте-перемешивателе? Церковная Русь, как известно, унаследовала от Византии и ее аскетические-христианские взгляды. Чернышев Григорий (XIII век) поучал: смеха бегий лихого, скomorох и гудачи и сирини не уведи в дом своей глума ради, поганько бо то суть».

Ю. Карачивский как бы передал с церковнославянского, а иначе — о Маяковском: «Помилуй Бог, не сам ли дьявол и есть?» В XVI веке митрополиты Даниил и Иона, своих поучениях чести скomorохов, называя их, как и наши критики поэта, — дьяволами, слугами сатаны и т.д.

Упреки на 350 лет Ю. Карачивского и Ю. Хадина и царь Алексей Михайлович, с гневом описавший в грамоте (1643 г.) на «скomorохов с дохрами и с гуляями и с волонками и со всякими бососовскими и (разрада) не Алексея Михайловича» играми. Почему? «Скomorохи и папцы... иже отрехоса святны апостола». Ну тогда-то, как наши святые апостола критики иже отрехоса от скomorохы Владимира Маяковского. Но к чести их скажем: в отличие от огульных поучений митрополитов, царских бездоказательных грамот критики пошпта-

Перечитывая книгу, я с изумлением остановился на двух фразах: новеллы: «Нефть, нефть!»; «Ефраим телычя ножа ягодный мус», — что значило приблизительно: «вся поверхность моря покрыта нефтью» и т.д.; а потом: «Ефунтами воспаление брошюны Америка», — что значило: «источники нефти усилились» и т.д.

«Да ведь это же Маяковский! Вот генезис его «Бани!» («Клопа» мне достать не удалось).

Вот происхождение «заумных» реликв интуриста-социалдагата.

Вот музыка последнего периода его жизни, непреклонное доказательство истинной подоплеку настроения Маяковского, воскликнул я.

(Думаю, что «Лиловая смерть» является одной из настольных книг группы лучших писателей современной России, — памфлетовой, фантастической, саркастической, Зощенко, Олеси, Мариенгофа, Вагинова.

Леонов, Бугаков, Пильняк тоже должны знать ей цену). САМОУБИЙСТВО Маяковского меня не поразило, я предполагал, что это может случиться.

Подобные выходы из положения, кажется, увя! укрепились в нашей литературе: А.Соболев и Есенин; Гумилев, разгравший свою драму, как Шеня; Блок, ушедший какими-то сторонами касания, родственной Гоголю дорогой; с оговорками, Розанова и Хлебникова — причислю к ним же; Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, лезших на рожон — включую в плеяду, так же.

НЕ БУДЬ фамилии под портретом Маяковского, напечатанным в «Последних новостях», от 16 апреля 1930 г., я, пожалуй, и не узнал бы его.

«Простой как мычание», ревуший, крушащий горилла стал: грустно-просветленным, расслабленно-сосредоточенным на одной мысли, — ушед-

шим в себя «человеком».

Забываясь о своей духовной сущности — знают, что изживание самоубийства требует неисчислимого количества времени; оправдания не имеет ни одно исключение, и все же мне кажется, что Маяковский нужно считать вынужденным некоторой духовной миссии.

Его жест — победа эмиграции, нормальный стимул и свидетельство более сенсационное, чем самоубийство Иоффе и — сродни толстовскому.

Заслуга Маяковского в том, что — даже его, первосвященника — стоило от братанья с Пулсами, Оптимистенко, Мезальяновыми, Моментальными и пр.

Да, я зачисляю Маяковского в «невозвращенцы!»

Его отиранье от живого тела большевизма началось много лет назад, вероятно, с первым же приездом в Берлин.

В Москве, почти все действенное — шло с «мировой революцией», ветер все согнул долу.

В Германии, же ужо Маяковского уловило раздвоенность звука «музыки времени».

Едино, мирового порыва, равного русскому горению, — не оказалось.

Шло это раздвоенное, как все глубокое и серьезное: и подосознательно, и медленно, с раздумьями и протестами.

В 1922—23 гг., в берлинском Доме искусства, Маяковский провела, нежно-скептически, своему другу, начавшему было развивать (под всеобщие протесты) большевистские теории: «брось, Роцин!» а потом добавил: «то-то и оно, что политика как муха — выгони ее в дверь, она вылетит в окно».

Заявление же, и объяснение В. Ходасевича, что Маяковский сказал в 24-м году, в Париже: «эту эту пролетарскую сволочь я ненавижу. Но буржуазную ненавижу еще больше», — свидетельство этой трагедии.

Статья Сергея Шаршуна, известного художника-дадаиста и оригинального прозаика, была опубликована в 1932 году в 6-м номере парижского журнала «Числа».

Если личное его знакомство с Маяковским было беглым и «необязательным» (хотя и здесь нельзя избавиться от впечатления, что многое Шаршун недоговорил, оставил «за кадром»), то интерпретация творческого и человеческого пути Маяковского — своеобразна, а литературный портрет поэта, написанный художником Шаршун, содержит и несколько неожиданных штрихов.

Сергей ФЕДЯКИН



Поэт Владимир Маяковский.

Фото А. Рагченко

«Был дьяволом — стал человеком»

Опыт прочтения стихов Владимира Маяковского без идеологических шор (глава из книги)

Лись привести прямое и ясное, как мне кажется, доказательство того, что Маяковский — дьявол бо то суть. Навалось же все, как они считают, с юношеской строки поэты:

Я люблю смотреть, как умирают гетти.

Орды сталинского литературоведения, писавшие о поэте с не-пременным государственным восторгом, попорту умничали об этой строке. Ю. Карачивский настроен решительно: «Среди самых ранних стихов существует один, достаточно часто цитируемый, где, может быть, всего прозаичнейше звучит душевная мука и жалоба.

Кричу кирпичу, слез испуганных вонзю

татору, человеческое сердце отказывается это принять...»

Серьезнее бьют обвинения? С приговорами вроде «никакой человек на земле не мог написать, ни при каких условиях, ни юродствуя, ни шутя, ни играя, — разве это была игра с дьяволом или «с какой-то сатанинской иронией отделить себя от людей» в Средневековье возводили на костер ведьм. Переда казнь их непременно выслушивали. Предоставим же слово и Владимиру Маяковскому: ведь стихи поэта, заметим, начинаются не со строки, на которую прямо-таки набросились критики, а — с примечательного заглавия: 1

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ

Я люблю смотреть, как умирают гетти.

Вы прибой смеха мглистый вал

Заметили б за — словыш...

Салная шутка о размере хобота и проясняющее веселье вокруг людоедства есси и не доходит до степени откровенности Ивана Баркова, из русской традиции не выходя. Сообщал же с гордостью Пушкин, что зависимо от него женщину («но мне милей смиренница моя») — неважно, крепниста или жена) он доводит до состояния, при котором она с ним... «делает радость о не в о л е», как необходимо заметить мудрейшая из женщин: Нина Берберова.

Знак вопроса — единственное, что не вызывает сомнения в выводах Ю. Карачивского. Ни дьявол, ни морали (она появилась после революции), ни новой двойственности никто не разгадал бы из-за отсутствия... двойственности старой: стих «Несколько слов обо мне самом» — из раннего (1913) литературного детства Маяковского. А кто из юншей непонятой 20 лет, вступа в поэзию, впервые заявил бы о своих засекретившихся ЭТИМ — сему-удому, когда-то, по вечерам, скромно потупляясь, обязательно докладывала мужу: «А Марфиньяка опять делала это».

Приговоренный к смерти Цинцинат вспоминает: «Поцелуй ваши, которые я подал тебе. Поцелуй ваши, которые походили на каковы-то питание, сосредоточенное, чистое, яркое и шумное. Или когда ты жмурился, пожирала прущую перся и потом, кончив, но еще работая, ел с полным ротом, канибалка, тыпирна пальцы, блуждала осоловелый взгляд, дрожала подбор-

Остолосек, как намека на что — «Полночь мокрыми пальцами шупала меня и забилый забор, и с каплями дивна на льсом куполе сумасшедший собор».

«Полночь мокрыми пальцами шупала меня...» Почему критики устранились от осмысления «скалка сумасшедший собор»? Да как бы они нам (а себе — как?) объяснили те возбужденно-ритмические теодрамы, только и способные создать иллюзию: собор — скачет!

Что вообще поэт в чашалыи уащ оупунных мокрыми пальцами? И в каком направлении движется обучение с такими специфическими наглядными пособиями — «тоски хоботом» за «прибой смеха мглистым валом»? Какую хохотушку-наставнику, стыдясь показать, прчет автор в тени забитого забора, не забывая, впрочем, поглядывать вверх — на мокрую лысину скочущего собора?

Это полезно перечитать дважды. Не правда ли, стихи воспринимаются совершенно иначе? Уж не идет ли в них речь об уличных уроках «науки страсти нежной» — способом, исключающим рождение детей? Поэт поимит и об иных идеалах и замечает с сожалением:

Я вижу, Христос из иконы бежал,

лок, весь в каплях мутного сока...»

Возможно, наши критики зададутся вопросом: кого же персонально имя Марфиньяка-канибалка, записав перикловым соком? А стихи Гарсия Лорки «И будем скакать до рассвета на лучшей из кобылиц», чего доброго, свяжут с развитием коневодства Испании в ночное время. И не обратят внимание на то, что русский и испанский поэты глаго «скакать» используют одинаково.

И уж совершенно бесспорно, что если автор (мирический герой) любит смотреть на известный процесс (или акт), от которого дети не рождаются, то он хит и коварствует у собора и пренебрегает христианской моралью, но не до степени «сатанинского отпадения себя от людей». Разве дохнувший список Пушкина имя его признание в том, что труднее всего ему соблюдать святое заповедь, отделить поэта от христианства?

Тем более что герой стихов Маяковского и сам осознает свою греховность и паденье — как бо-гоствованием.

Я вижу, Христос из иконы бежал,

Если бы Ю. Карачивский читал Маяковского, а не одаждалив у него цитаты для своей концепции (как Ал. Михайлов и другие партийные критики-ортодоксы — для своей), он бы, возможно, и разгадал, что «Несколько слов обо мне самом» — стихи с невольным кодом шифром. К творчеству и к судьбе. Но из неверной, неточной оценки строки делаются неверные выводы: «Ма вдруг замечаем новую двойственность — двойную чувственность, двойную мораль, на которую сперва не обратили внимания. «Тобою пролитая кровь» — слезная жалоба автора, но ведь сам же он только что с таким садострастием: «Слов вонзю кинжал...» А тогда и порванная в колюч дупа, и хромой боготам, и уродец-век, и последний глаз, и слепые — не слишком ли густо? Не слышим ли много членовредительств, чтобы сказать о своем одиночестве?»

Знак вопроса — единственное, что не вызывает сомнения в выводах Ю. Карачивского. Ни дьявол, ни морали (она появилась после революции), ни новой двойственности никто не разгадал бы из-за отсутствия... двойственности старой: стих «Несколько слов обо мне самом» — из раннего (1913) литературного детства Маяковского. А кто из юншей непонятой 20 лет, вступа в поэзию, впервые заявил бы о своих засекретившихся ЭТИМ — сему-удому, когда-то, по вечерам, скромно потупляясь, обязательно докладывала мужу: «А Марфиньяка опять делала это».

Приговоренный к смерти Цинцинат вспоминает: «Поцелуй ваши, которые я подал тебе. Поцелуй ваши, которые походили на каковы-то питание, сосредоточенное, чистое, яркое и шумное. Или когда ты жмурился, пожирала прущую перся и потом, кончив, но еще работая, ел с полным ротом, канибалка, тыпирна пальцы, блуждала осоловелый взгляд, дрожала подбор-

Остолосек, как намека на что — «Полночь мокрыми пальцами шупала меня...» Почему критики устранились от осмысления «скалка сумасшедший собор»? Да как бы они нам (а себе — как?) объяснили те возбужденно-ритмические теодрамы, только и способные создать иллюзию: собор — скачет!

Что вообще поэт в чашалыи уащ оупунных мокрыми пальцами? И в каком направлении движется обучение с такими специфическими наглядными пособиями — «тоски хоботом» за «прибой смеха мглистым валом»? Какую хохотушку-наставнику, стыдясь показать, прчет автор в тени забитого забора, не забывая, впрочем, поглядывать вверх — на мокрую лысину скочущего собора?

Это полезно перечитать дважды. Не правда ли, стихи воспринимаются совершенно иначе? Уж не идет ли в них речь об уличных уроках «науки страсти нежной» — способом, исключающим рождение детей? Поэт поимит и об иных идеалах и замечает с сожалением:

Я вижу, Христос из иконы бежал,

Остолосек, как намека на что — «Полночь мокрыми пальцами шупала меня...» Почему критики устранились от осмысления «скалка сумасшедший собор»? Да как бы они нам (а себе — как?) объяснили те возбужденно-ритмические теодрамы, только и способные создать иллюзию: собор — скачет!

Что вообще поэт в чашалыи уащ оупунных мокрыми пальцами? И в каком направлении движется обучение с такими специфическими наглядными пособиями — «тоски хоботом» за «прибой смеха мглистым валом»? Какую хохотушку-наставнику, стыдясь показать, прчет автор в тени забитого забора, не забывая, впрочем, поглядывать вверх — на мокрую лысину скочущего собора?

Это полезно перечитать дважды. Не правда ли, стихи воспринимаются совершенно иначе? Уж не идет ли в них речь об уличных уроках «науки страсти нежной» — способом, исключающим рождение детей? Поэт поимит и об иных идеалах и замечает с сожалением:

Я вижу, Христос из иконы бежал,

Остолосек, как намека на что — «Полночь мокрыми пальцами шупала меня...» Почему критики устранились от осмысления «скалка сумасшедший собор»? Да как бы они нам (а себе — как?) объяснили те возбужденно-ритмические теодрамы, только и способные создать иллюзию: собор — скачет!

Остолосек, как намека на что — «Полночь мокрыми пальцами шупала меня...» Почему критики устранились от осмысления «скалка сумасшедший собор»? Да как бы они нам (а себе — как?) объяснили те возбужденно-ритмические теодрамы, только и способные создать иллюзию: собор — скачет!

дится, а лужеными глотками. Из подписавших его — Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников — только последний был автором книг «Явля» и «Уничтожь и Ученик» (1911). Творчество остальных — покоилось в братских могилах коллективных сборников. Роту Времени попорту нечем было протрубить в словесном искусстве.

В пожарном порядке А. Крученых с В. Хлебниковым пишут поэму «Игра в аду». Ее литографированное издание появилось летом 1912-го в рисунках Н. Гончаровой. А уже зимой (1912—1913) — знаменитая «Дар-бу-цил» А. Крученых. В следующем, 1913-м, — оверонная книга соавторов «Бех лесный» в издательстве «ЕУБ».

Не отставала от друзей и Маяковский: положение обывало. Тонюсенская книжечка «Я» (1913) написана от руки, литографирована. В ней всего четыре стихотворения: «По мостовой моей души...» и — «Несколько слов о моей жене», «Несколько слов о моей маме», «Несколько слов обо мне самом». Тираж 300 экз. Но уже — автор книжки! Само собой — в духе манифеста «Пощечина общественному вкусу».

Очень заметно на фоне 300 тысяч остальных книг, выпущенных в России (общий тираж 130 млн. экз.)

Ю. Карачивский, кажется, не обратил внимания на то, что со садострастием все-таки «Слов вонзю кинжал...» Пусть острей как бритва или кинжал, но слов! От которых и порезы — условные. Критик приводит также усеченное «тобою пролитая кровь», не поясняя, что это — совершенно иной пласт приравненной поэтом мифологии:

Солнце! Это тобою пролитая кровь моя

Можно пожить юного поэта за чужую образную систему; вспомнить древнеегипетского фараона Эхнатона, считавшего Солнце светом отцом, сына М. Горького «дети Солнца» или широко известные в начале века стихи В. Соловьева «Неподвижно лишь солнце любви». Не обошлось, скорее всего, и без Данте с его «Любовь, что движет солнце и другие звезды». Маяковский ищет применения своей (всегда им осознаваемой) метафизической сущности. Для него поэт — сын Солнца, который жаждет отцу: «кровь моя льется дорогою дольней».

Дарования слыше солнечная энергия, а не обычная кровь растекается по земной жизненной дорожке видимой пользы. Задумав «Пощечину общественному вкусу», талантливые (но не очень умные) недоросли отдавали себе отчет: против кого направлено их бунтующее невежество? Направление главного удара всегда одно — Бог («Я вижу, Христос из иконы бежал») и все связанное с Ним: любовь, семья, вера. Мнение бо-детали выражает их главный недолол А. Крученых, шокируя читателей уже с первой страницы своей книги «Чорт и речетворцы»:

русская литература до нас была спиритической и хуросочной

Солнце! Это тобою пролитая кровь моя

Можно пожить юного поэта за чужую образную систему; вспомнить древнеегипетского фараона Эхнатона, считавшего Солнце светом отцом, сына М. Горького «дети Солнца» или широко известные в начале века стихи В. Соловьева «Неподвижно лишь солнце любви». Не обошлось, скорее всего, и без Данте с его «Любовь, что движет солнце и другие звезды». Маяковский ищет применения своей (всегда им осознаваемой) метафизической сущности. Для него поэт — сын Солнца, который жаждет отцу: «кровь моя льется дорогою дольней».

Дарования слыше солнечная энергия, а не обычная кровь растекается по земной жизненной дорожке видимой пользы. Задумав «Пощечину общественному вкусу», талантливые (но не очень умные) недоросли отдавали себе отчет: против кого направлено их бунтующее невежество? Направление главного удара всегда одно — Бог («Я вижу, Христос из иконы бежал») и все связанное с Ним: любовь, семья, вера. Мнение бо-детали выражает их главный недолол А. Крученых, шокируя читателей уже с первой страницы своей книги «Чорт и речетворцы»:

русская литература до нас была спиритической и хуросочной

Солнце! Это тобою пролитая кровь моя

Можно пожить юного поэта за чужую образную систему; вспомнить древнеегипетского фараона Эхнатона, считавшего Солнце светом отцом, сына М. Горького «дети Солнца» или широко известные в начале века стихи В. Соловьева «Неподвижно лишь солнце любви». Не обошлось, скорее всего, и без Данте с его «Любовь, что движет солнце и другие звезды». Маяковский ищет применения своей (всегда им осознаваемой) метафизической сущности. Для него поэт — сын Солнца, который жаждет отцу: «кровь моя льется дорогою дольней».

Дарования слыше солнечная энергия, а не обычная кровь растекается по земной жизненной дорожке видимой пользы. Задумав «Пощечину общественному вкусу», талантливые (но не очень умные) недоросли отдавали себе отчет: против кого направлено их бунтующее невежество? Направление главного удара всегда одно — Бог («Я вижу, Христос из иконы бежал») и все связанное с Ним: любовь, семья, вера. Мнение бо-детали выражает их главный недолол А. Крученых, шокируя читателей уже с первой страницы своей книги «Чорт и речетворцы»:

русская литература до нас была спиритической и хуросочной

Солнце! Это тобою пролитая кровь моя

Думаю, что в том же 24 г. мне случилось быть в обществе Маяковского.

В те времена, я знавалась с одним полупитом.

Встречи происходили на Монпарнасе.

Приближаясь однажды «к его столу» — я увидела, что там сидит и Маяковский.

Здороваясь со знакомыми, я, по-монпарнасе просто, без лестьи — протянула руку и ему, говоря, что был представлен в Берлине.

Держался Маяковский на равной ноге — по просьбе полупитика, прочитал, шепотом, несколько своих стихотворений, потом, сообщив московскую чашку, за строкой которой, рефреном, было: «умща, дрища, а ца ца» и, весело, ласково смеясь, добавил: «придумают же»... (далее следовала добродушнейшая, матерная ругань).

По его уходе, полупитик вы-сказал свое изумление, что Маяковский держался со всеми за панибрата, не хамя (причем было ясно, что это относится ко мне, т.к. с остальными его отношения были установлены).

Следующие дни, замечая его на Монпарнасе — я кланялся первому, но почувствовал, что он ждет поклона — делать это перестала.

Год или два спустя, однажды, я шел со знакомым по улице.

Навстречу, со скоростью метеора — Маяковский.

Увидев моего спутника (может быть, нас обоих) он остана-новился.

Я отошел в сторону, а они протворили несколько минут.

Вероятно уже и раньше, но к этому времени особенно, Маяковский, побывав в Мексике и Северо-А.С.Ш. (которые, как известно, произвели на него гнетущее впечатление) — полюбил Париж (возвращенное, плещущее: «направь от нас бульвар Монпарнасе», внедряясь в жизнь Зап. Европы, но одновременно же и за-водя знакомства, работая над

большевиченем здешней «интеллигенции».

Еще через 2—3 года, я увидел его, на том же Монпарнасе, в обществе одной полупитицы, которой в толчее интернациональной богемы я был представлен.

Разыскивая нужных лиц, я увидел, что Маяковский, светясь благодушием — горит собеседниче обо мне, и что она повернулась, ожидая, что я подаю.

Я этого не сделал.

Это была «моя последняя встреча с Маяковским».

Несколько месяцев спустя (но может быть за год до трагического конца), мне передали, под секретом, следующую сцену его прощания с «завоеванными» им французскими писателями